ЗАЛОГ БЕЗДНЫ

Должники Бездны • книга 1



18+

Кирилл Прикота
Залог Бездны

https://litres.ru/74809818
SelfPub; 2026

Аннотация

Она продаёт чужие воспоминания, чтобы спасти сестру. Он — Верховный Взыскатель, человек, у которого Бездна не может ничего забрать. Три года назад они любили друг друга. Теперь ни один не помнит об этом. Но стоит ей прикоснуться к нему, и она чувствует вкус пустоты там, где должна быть она сама. В мире, где магия берётся в долг, а проценты платят памятью, Лиара Кейн торгует тем, что нельзя вернуть. Дариан Ашвер охраняет Врата, за которыми ждёт Бездна. Их сводит арест, сделка и половинка серебряного кольца, которая вдруг становится тёплой. Чтобы вернуть себе прошлое, им придётся спуститься туда, где хранятся все залоги. И торговаться с самой Бездной. Тёмное романтическое фэнтези: враги-любовники, вынужденная близость, опасный герой и героиня, которая умеет торговаться и врать. Завершённая история и крючок на вторую книгу. 18+

Содержание

ЧАСТЬ I. ЗАКЛАДНАЯ 5
Глава 1. ЛИАРА 5
Глава 2. ЛИАРА 18
Глава 3. ДАРИАН 29
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Залог Бездны

Залог Бездны
Должники Бездны. Книга первая

ЧАСТЬ I. ЗАКЛАДНАЯ

Глава 1. ЛИАРА

Воспоминания у всех разного вкуса, а торгуются все одинаково: врут.

Женщина напротив меня врала про цену. Говорила, что ей «совсем не нужны деньги», и при этом третий раз подряд поправляла рукав, чтобы я не увидела дырку на локте. Руки у неё были красные, распаренные, с белыми трещинками на костяшках. Прачка. Из тех, что стирают чужое бельё в ледяной воде Сирта и приносят домой кашель.

— Тридцать, — сказала я.

— Мне говорили, пятьдесят.

— Вам говорили в Верхнем городе, а мы в Подкладке. Здесь пятьдесят дают за то, что нельзя отдавать. Тридцать пять, и я не спрошу, кому оно нужно.

Она сжала губы. Меня зовут Лиара Кейн, мне двадцать четыре, и я зарабатываю тем, что люди приходят ко мне с самым дорогим и уходят с самым нужным. Иногда это не одно и то же, но уж тут я за них не отвечаю.

— Что за воспоминание? — спросила я, хотя мне полагалось молчать. Первое правило скупщика: не знай товар, пока не купила. Второе: не покупай то, что знаешь. Я нарушаю

оба каждый день.

— Первый снег. Мне семь лет. Отец несёт меня на плечах с рынка, и я пытаюсь поймать снежинку языком.

Она сказала это сухо, как рецепт. Люди всегда так говорят, когда отдают хорошее: чтобы не разреветься на моём столе.

— Имя отца в нём есть?

— Он называет меня. «Не вертись, Мартушка».

— Тогда это стоит на пять серебра дороже, потому что имя я вырежу, и дыра будет глаже. Но на десять дешевле, потому что вам придётся помнить, что у вас был отец, и что он носил вас на плечах, а вот как это было, вы не вспомните. Решайте.

— А если оставить имя?

— Тогда я его заберу вместе с именем, и вы не будете знать, как звали человека, который вас любил. Вы этого хотите?

Она не хотела. Она хотела, чтобы я исчезла, а в столе вместо меня лежали деньги. Я видела такое лицо у десятков людей. В детстве я принимала это за гордость. Теперь знаю: так выглядит страх.

— Вырезайте, — сказала она.

Я стянула с правой руки перчатку.

Вот это я ненавижу и люблю одновременно. Тонкая кожа, пахнущая лавандой, чтобы перебить запах железа от ножниц, которыми я режу бесконечную вереницу чужих жизней. Мои пальцы всегда чуть холоднее, чем нужно. Прачка

вздрогнула, когда я взяла её за руку. Всегда вздрагивают.

— Закройте глаза и думайте про снег.

Память дрогнула у меня под пальцами, как рыба на леске. Яркая. Не слишком глубокая. Я потянула.

Яблочная кислинка. Это радость, у неё всегда так: кислая сверху, потом сладкая, потом мякоть. Корица, значит, это дом. Мокрая шерсть воротника, чужой подбородок, колючий от щетины, и кто-то громко смеётся над головой, а я, семилетняя, ловлю белую пушинку на язык, и она тает, и она на вкус ничем, как вода, но я ловлю снова, потому что этот смех над головой нужно удержать.

Я вынула это из неё одним движением, как вытягивают занозу, и в моей ладони осталась стеклянная бусина, мутная, тёплая, с яблочным ободком внутри. Зерно. Любую память можно спрятать в зерно, если ты Ёмкость. Таких, как я, в Тарроне наберётся человек пять, и из них четверо на каторге.

Прачка открыла глаза.

— Всё?

— Всё.

— А мне казалось... — она запнулась. — Что-то про снег. Про отца. Я помню, что он у меня был.

— Был. Нёс вас на плечах. Шёл снег. Остальное вы доставите себе из дальнейшей жизни.

Я отсчитала тридцать пять серебряных, ссыпала их в её красную ладонь. Она сжала их, и по лицу было видно, что ей кажется, будто деньги тяжелее, чем должны быть. Это всегда

так. Ты отдаёшь вещь, которой нельзя дать цену, и потом вся твоя жизнь делится на то, что было до, и то, что идёт после, а монеты лежат посередине, как забытая ложка в чужом кармане.

На пороге она остановилась.

— Скажите, а он, кто его купит, он... будет бережно?

— Купит человек, у которого иначе взяли бы что-нибудь хуже, — сказала я. — Это всё, что я могу обещать.

Дверь хлопнула, колокольчик над ней заскулил и затих.

Я натянула перчатку, посмотрела на зерно у себя на ладони и сунула его в карман. Рот у меня был сух, как после яблока, съеденного с кожурой. Это неприятная часть работы: вкус остаётся на языке часа на два. Чужая радость, пожёванная и выплюнутая, никому не нужная, кроме одного молодого дурака, который через десять минут явится за ней в мой ломбард.

Наш ломбард называется «Часы и услуги», что почти правда. Фенн Брассар чинит часы в передней комнате, а в задней я принимаю услуги, которые не пишут на вывесках. Фенн говорит, что у скупщика должно быть честное лицо, и у него оно есть: круглое, седое, со слезящимися добрыми глазами. Он хромает на левую ногу, у него в кармане всегда леденцы для уличных мальчишек, и никто не поверил бы, что этот человек двадцать лет кормит Подкладку тем, что вынимает из голов.

— Лорд Кастеллан пришёл раньше, — сказал он, не ото-

рвавшись от пружины, которую выпрямлял пинцетом. — Сидит у меня в клетке и делает вид, что рассматривает часы с кукушкой.

— Как выглядит?

— Как человек, у которого завтра Погашение, а в голове одна свадьба.

Я вздохнула. До Ночи Погашения оставалось шесть дней. Обычай такой: раз в год все заёмщики империи собираются в зале, и Бездна берёт то, что ей причитается. Маги стоят кругом, как овцы у стрижки, и смотрят друг на друга, не зная, что у них отняли. А потом идут пить вино. Красиво. Весь город говорит, что это очень красиво.

Я вошла в переднюю комнату, поправляя косу. Коса у меня нехорошая, всё время распадается: тёмно-каштановая, жёсткая, с волосками, которые вылезают как будто назло. Фенн говорит, что я похожа на ёжика, которого прогнали сквозь куст.

Лорд Кастеллан сидел на краю стула, будто тот был горячий. Двадцать шесть, может, двадцать семь. Хороший плащ, плохой сон. Правый рукав он держал оттянутым, чтобы не видно было меток, но серебряная жилка уже поднялась у него до локтя и светилась сквозь ткань, как сеть под тонким льдом.

— Вы Лиара? — спросил он. — Мне сказали…

— Вам сказали, что у меня честные цены. Это неправда. Но я хорошо делаю дело. Идёмте.

Он пошёл за мной в заднюю комнату, как ходят к зубодёру, и мне стало его немного жаль. Я не терплю, когда мне жалко клиентов. Это портит торговлю.

— Сколько у вас осталось на счёте? — спросила я, садясь.

— Два займа до порога. Если Бездна возьмёт лишнее на Погашении, меня… — он осёкся. — Мне нельзя терять следующий месяц. В нём свадьба.

— Невеста?

— Эльза.

— Тогда ничего не берите из-за свадьбы. Нельзя, чтобы Бездна выбрала для взыскания «Эльзу». Она всегда берёт самое тяжёлое по чувству, а у вас сейчас это она.

Он побелел. Красивый, мальчик. Богатый и глупый, как хорошо отлитая ложка. Но он пришёл ко мне, а не к тем, кто оставит его без глаз.

— Что вы предлагаете?

— Зерно. Я продам вам чужое воспоминание, вы вложите его в Бездну вместо своего. Подставной залог. Двести серебра, и я не назову вашего имени ни Взыскателям, ни вашей матушке.

— Двести?! Мне сказали, сто.

— Вам сказали про меня, когда я была моложе и глупее. Двести. Это свежее. Первый снег, детское, светлое. Не страшное, не стыдное, не слишком сладкое, чтобы Бездна не заподозрила подмену. Хорошая, чистая монета.

Он смотрел на мою перчатку, как на горсть тараканов.

— Оно не... не принадлежит живому человеку? Его владелица не... она не пострадает?

— Она жива. И у неё остался отец, о котором она знает ровно столько, сколько ей нужно, чтобы не искать. А вот вы можете и пострадать, если будете торговаться, потому что мне пора обедать.

Он вытащил кошель. Я пересчитала монеты на столе, выложила на ладонь зерно. Оно слегка светилось, как ночной лёд на реке, и от него пахло корицей.

— Разбивайте у Окна на рассвете, — сказала я. — Не раньше. И обязательно в мокрой перчатке: иначе зерно треснет у вас в руках, и вы получите чужую радость, которой не заслужили.

Лорд Кастеллан взял бусину осторожно, как берут птенца. И тут сказал то, чего я никогда не жду от клиентов:

— Спасибо.

— Не за что, — ответила я. — Всё включено.

Когда он вышел, я долго сидела над столом, глядя на кучку серебра. Двести монет. Тридцать уйдут Мэв за якорь, сорок лекарю, тридцать Фенну за аренду, двадцать на хлеб, мясо и уголь. Остальное в чулок, на день побега. И десять мне, на карамель. Я люблю карамель. Это мой единственный порок, который не продаётся.

Голова слегка гудела: лишние воспоминания чужих людей оседают на дне, как вода в плохом колодце. Но это было терпимо. А вот тишина... Тишину я переносила хуже.

Тесса сидела на подоконнике нашей комнаты наверху и шевелила губами.

Ей четырнадцать, хотя выглядит она на двенадцать: маленькая, тоненькая, с таким острым подбородком, что им можно резать масло. Волосы у неё светлее моих и вьются, хотя она их безжалостно приглаживает. На коленях у неё лежала тетрадь, в которую она записывает слова.

— Ножницы, — сказала она, не поднимая головы. — Я сегодня забыла «ножницы». Стояла в комнате, смотрела на них и думала: какая красивая штука, которая режет. Всё помню про них, что они пополам, что их зажимают пальцами, а как называются, нет.

Я села рядом. Подоконник был холодный, в щели сквозило гнилью с реки.

— Записала?

— Записала. Теперь они у меня на странице тридцать два. Между «голубем» и «колодцем».

— Хорошее соседство.

— Они спорили. Голубь считает, что ножницы слишком злые.

Она засмеялась и закашлялась. Кашель у неё мокрый и глубокий, как будто из подвала. Я положила руку ей на спину и почувствовала, какая она худая: рёбра как у птицы.

Ржавчина. Вторая стадия. Врачи шепчутся, что это бывает у детей, которым Бездна выдала лишнее. Но Тесса никогда ничего не заимствовала. Она не маг. Она даже не уме-

ет толком зажигать свечи без спичек. А ржавчина всё равно пошла: сперва пропали два имени, потом дни недели, потом слова. Мэв Хорн сказала, что такое бывает от «наследственных» долгов. Мол, мать брала. Мать брала. Я не помню, чтобы мать что-нибудь брала. Я помню её только последней.

— Лиара.

— Что?

— Ты стала тише.

— Что значит тише?

— Не знаю. — Она повертела карандаш. — Раньше ты шумела, когда приходила. Бросала сумку, пела что-то ужасное. Теперь ты как… как будто заходишь, а меня обнимает кто-то очень аккуратный.

Я не ответила. Потому что она была права. Потому что последние два года я «светлое» для якоря брала из себя, из собственной головы: берёшь воспоминание о чём-то хорошем, вкладываешь в отвар, отдаёшь Тессе. Так дешевле. Мэв берёт сто двадцать серебра за якорь с чужой радостью, и тридцать — с моей. Я отдавала по одному в месяц. Первый поцелуй? Нет. Скорее всего, что-то про море, про которое я теперь знаю только, что оно было большое. Про горячий пирог. Про мать, поющую на кухне. Про… я не помнила. Вот в чём прелесть: ты не помнишь, что отдала.

— Я просто устала, — сказала я. — Я продала сегодня двести серебра, у нас будет якорь, мясо и уголь. Ты не против?

— Я за мясо.

— Мясо — это жизнь, — сказала я и поцеловала её в макушку.

От неё пахло мылом и нагретой шерстью. Хорошо пахло. Домом. На языке у меня стоял вкус яблока, который я так и не смогла проглотить.

Мы ели суп с чёрствым хлебом, когда в окно влетел камень.

Не камень: ком мокрой глины, упавший на подоконник и разлетевшийся грязью по тетради. Тесса возмущённо завизжала. Я уже стояла на ногах, потому что в этом доме камни в окно означают одно.

На соседней крыше сидел Пип.

Одиннадцать лет, рыжий, как костёр, без одного зуба, в куртке с чужого плеча. Он живёт на крышах Подкладки и носит новости быстрее, чем их придумывают. Он держал руки у рта, и даже оттуда было видно, какое у него лицо.

— Серые! — выдохнул он шёпотом, который слышно было на три улицы. — Серые идут по Медников!

— Сколько?

— Десять! Двенадцать! С ними Лорд!

— Какой лорд?

— Тот, у которого перчатка!

Суп в миске остыл мгновенно, как у всех в этом городе при слове «Взыскатели». Я схватила Тессу за руку.

— Одевайся. Туфли. Не бери тетрадь.

— Я без тетради не пойду!

— Возьми тетрадь.

Внизу хлопнула дверь. Фенн вбежал в комнату, хромая сильнее обычного: так он хромает, когда ему страшно, и это единственный способ понять, что он боится.

— Зерна, — выдохнул он. — Все зерна из шкафа. В часы.

— Фенн, шкаф стоит в…

— Знаю, где он стоит! В часы, Лиара! В часы!

Мы побежали вниз, роняя ложки. В задней комнате я рванула на себя дверцу старых напольных часов, того чудовища с маятником в человеческий рост, в котором Фенн двадцать лет прячет всё, что нельзя показывать закону. Там, за фальшивой стенкой, на бархате лежали мутные стеклянные бусины, десятки, как жемчуг в чужой шкатулке. Радости, страхи, свадьбы, предательства. Я смахнула их в мешок, перетянула шнуром, и мешок оказался тёплым, и я подумала, что у него есть сердце.

— Уходи крышей, — сказал Фенн. — Тесса к Мэв, через двор. А ты в Подкладку, как будто идёшь на рынок.

— А ты?

— А я старый хромой часовщик, — сказал Фенн. — Я им починю часы.

— Фенн.

Он коснулся моего лица рукой, и в этом прикосновении было что-то слишком долгое.

— Иди, девочка.

Я потащила Тессу за собой.

На улице уже слышались шаги. Серые Взыскатели ходят не как стража. Стража топает и орёт. Эти идут медленно, одним строем, и от этого звука по Подкладке разбегаются кошки. Я распахнула дверь во двор, затолкала Тессу в щель между домами и сунула ей в карман монету.

— К Мэв. Не оглядывайся. Если кто-то спросит, ты ходила за хлебом.

— Лиара, а ты?

— Я потом. Беги.

Она побежала. Маленькая, быстрая, с прижатой к груди тетрадью. Я смотрела ей вслед и думала про слово «ножницы», которое лежит у неё на тридцать второй странице между «голубем» и «колодцем».

Потом я развернулась и услышала голос.

Он шёл с улицы, через открытую дверь лавки, тихий и ровный. Голос человека, который никогда не повышает его, потому что в этом нет нужды.

— Никому не выходить, — сказал он. — Никто не пострадает.

Я заглянула в щель. Лавка была полна серого. Взыскатели стояли вдоль стен, как фигурки на часах, а у входа, спиной к свету, стоял он. Высокий, в сером плаще с серебряной пряжкой в виде весов. Тёмные короткие волосы. Лицо, которое выглядело так, будто его не выбирали, а вытесали. И левая рука, затянутая в чёрную кожаную перчатку до самого локтя.

Он смотрел на Фенна. Фенн смотрел на пружину у себя в пальцах.

А я стояла за дверью и держала в руках мешок, полный чужих жизней, и в горле у меня остался вкус яблока, которого я не съедала.

Глава 2. ЛИАРА

У меня есть три способа уходить от неприятностей: врать, бежать и платить. Врать мне нельзя, потому что Фенн в лавке, а Фенн мой единственный свидетель. Платить нечем: весь мой капитал лежит в мешке, и этот капитал называется «двадцать лет тюрьмы».

Оставалось бежать.

Задняя дверь выходила в узкий двор, где сушилось чужое бельё. Дальше шла пожарная лестница, косая, как кривой зуб, и по ней можно было подняться на крышу. Я поднялась, держа мешок обеими руками. Мешок был тёплый и тихо звякал.

Подкладка с крыш выглядит иначе. Снизу это лабиринт грязи, окон и запахов. Сверху это одна неровная кровля из чёрной черепицы и ржавого железа, по которой можно добежать от Медников до Рыбной площади, ни разу не коснувшись земли. Здесь мой дом. Здесь я знаю каждую трубу и каждую плохую плитку.

Я не знала только одного: что на этой крыше меня уже ждут.

— Девушка, — сказал кто-то мягко. — Остановитесь, пожалуйста. Здесь скользко.

Я остановилась не потому, что послушалась, а потому, что голос был слишком приятным. Так не разговаривают люди,

которые собираются тебя хватать. Так разговаривают те, кто ходит по крышам в чистых сапогах.

Он сидел на коньке соседнего дома, как кот на заборе: ногу подогнул, локоть на колене. Серый плащ, серебряная пряжка, светлые волосы, красивое лицо, на котором улыбка выглядела не маской, а привычкой. Лет тридцати. Хорошо выспавшийся.

— Сорен Вэйр, — представился он. — Капитан. Если вы бросите мешок, мы можем обойтись без неприятных формальностей.

— А если не брошу?

— Тогда мне придётся вас ловить. А я сегодня завтракал.

Я посмотрела на него, на мешок, на пропасть между нашими крышами. Узкий проулок, три шага ширины, четыре этажа вниз. Я прыгала через него раз сто: на спор, назло, от страха. Один раз с бидоном молока. Всё всегда обходилось, и в этом самая большая ловушка удачи.

— Приятного аппетита, — сказала я.

И прыгнула.

Левая нога. Я всегда отталкиваюсь левой. Воздух ударил в лицо, пахнущий дымом, мокрой кровлей и рыбой, мешок дёрнул меня за руки, как живой, и на одно долгое мгновение внизу не было ничего, кроме чужого двора и верёвки с чьими-то штанами. Потом черепица ударила в колени. Я перекатилась, не выпустив мешка, и услышала сзади весёлое:

— Хорошо! Очень хорошо!

Он ещё и хвалил.

Я бежала. Через трубу, мимо голубятни, по гребню, где кровля такая узкая, что ставишь ногу вдоль, как канатоходка. За спиной свистнули, это не он, это снизу, значит, серых уже выставили на улицу. Под ногами что-то сыпалось. Это я, не заметив, прорвала мешок, и из дырки выкатилось зерно. Оно прыгнуло по черепице, звонко, как горох, соскользнуло с края и пропало. Чужая память о чьём-то первом поцелуе упала на булыжники и разбилась с таким тихим звуком, что у меня заныли зубы.

Не оборачивайся.

Я оглянулась. Сорен Вэйр бежал за мной по гребню, легко, словно по паркету, и не спешил. Так не гонятся. Так загоняют.

— Пип! — крикнула я, не надеясь.

Но Пип, мой рыжий ангел-хранитель с отпиленным зубом, был где-то рядом. На соседней трубе вдруг кто-то взвизгнул, и вниз с грохотом посыпалась стопка черепицы, которую он, конечно, подпиливал для таких случаев. Сорен отпрыгнул. Я рванулась дальше.

Крыша кончилась на улице Перевозчиков. Дальше был только узкий мостик из досок, перекинутый над каналом между двумя домами. Его строили для кошек и сушильщиков. Ширина ладони. Под ним — вода цвета старого чая.

Я пошла по доске, широко расставив руки, с дырявым мешком под мышкой. Одна нога, вторая. Почти.

На другом конце стоял человек.

Он стоял неподвижно, спиной к закату, и ждал, как ждут у переправы. Высокий, в сером плаще, который не колыхался даже на ветру. Он выглядел так, будто пришёл сюда заранее, сел, посмотрел на мою дорогу и выбрал единственное место, где я не смогу его обойти.

Левая рука затянута в чёрную перчатку. Правая голая, большая, с белым шрамом поперёк ладони.

Я остановилась на середине доски.

— Вы не посторонитесь? — спросила я. — Тут узко.

— Нет, — ответил он.

Голос был тот же. Ровный. Без нажима. Тот самый, что в лавке сказал: «Никто не пострадает». Только теперь я была достаточно близко, чтобы увидеть лицо.

Он не был красавцем. У красавцев не бывает такой жёсткой линии рта и такой тени под скулами, как будто лицо вырезано из серого камня и забыто в сыром подвале. Глаза серые, как у стали. Они смотрели на меня очень внимательно, не мигая, и в этом взгляде было что-то не то.

Не злость. Не торжество. Не даже интерес охотника.

Он смотрел на меня, как смотрят на слово, которое вертится на языке и не вспоминается.

— Левая нога, — сказал он.

— Что?

— Вы сейчас оттолкнётесь левой ногой и прыгнете вправо, на карниз с горшками. Не надо. Горшки гнилые. Вы упа-

дёте.

Я так и собиралась. Именно так, левой, и именно на карниз. Он сказал это спокойно, как диктуют адрес. Мне стало холодно.

— Откуда вы знаете, как я прыгаю?

Его лицо чуть изменилось. Едва заметно. Между бровей легла складка, и мне показалось, что он сам удивлён тому, что сказал.

— Не знаю, — произнёс он медленно. — Просто видно.

Позади, на крыше, послышались шаги. Сорен догонял. Впереди стоял молчаливый серый, перегородив путь. Под ногами был канал. Что делает человек, когда у него нет трёх способов?

Он придумывает четвёртый.

Я бросила мешок.

Не ему, а в воздух, высоко, так, чтобы он упал позади него на плоскую крышу. Любой нормальный человек обернулся бы. Он не обернулся. Но рука его, правая, большая, с белым шрамом, чуть дёрнулась в сторону мешка. На долю мгновения.

Я использовала эту долю.

Рванулась вперёд, пригнулась, нырнула ему под локоть. Если смотреть со стороны, это было красиво: дерзко, быстро и совершенно бессмысленно, потому что рукав его плаща оказался быстрее меня.

Он поймал меня за предплечье.

Не больно. Спокойно, как ловят падающий стакан. Я качнулась. Потеряла равновесие на узкой доске. Инстинктивно вцепилась в первое, что подвернулось под руку.

Это была его рука.

Его правая рука. Его запястье. Голое, горячее, с жёсткими жилами под кожей.

Он поймал меня за рукав, и вместе с рукавом в его пальцах осталась моя перчатка, та самая, правая, с лавандой: она соскользнула с моей руки, как вода. Моя голая кожа легла на его голую кожу.

Тихий щелчок. Как будто замок.

Я не знаю, как объяснить это тому, кто никогда не был Ёмкостью. У каждого человека есть вкус. Каждый человек, который жил, любил, боялся, пил вино и забывал имена, пахнет и отдаёт на язык тем, что он носит внутри. Ржавчина горчит, как ржавый гвоздь. Счастливые люди отдают яблоком. Те, кто много плакал, оставляют соль. Я ловлю это за секунду, как другие ловят запах хлеба из двери пекарни.

У этого человека вкуса не было.

Не вкус пустоты, который я знала от Пустых: тот горький, как вывернутый наизнанку рот. Нет. Здесь было что-то другое. Здесь было место, где вкус должен был быть. Как провал на месте выбитого зуба. Язык ищет его, ищет, ищет, и находит гладкую десну, и ничего. Ни горечи, ни кислоты. Только ровная ледяная гладь, как в комнате, из которой вынесли всю мебель и оставили на полу один след от кровати.

Я отшатнулась так резко, что едва не рухнула с доски. Он держал мой рукав, и это единственное, что меня удержало.

— Что вы со мной сделали? — выдавила я.

— Ничего.

— Вы... — Я не могла подобрать слов. — Вы чистый.

— Я Взыскатель. Мы все чистые.

— Нет. Я не про то. — Горло сжалось. — У вас там дыра.

Он замер. Всего на секунду, но я увидела, что с его лицом что-то случилось: оно как будто закрылось изнутри, как закрывают ставни перед грозой. Рука, державшая мой рукав, стала жёсткой, как деревянная.

— Где?

— Не знаю. Во всём. В тебе. В вас. — Я не соображала. — Там, где должны быть три года.

Я не знала, откуда взяла эту цифру. Она вылетела сама.

Лицо его не изменилось, но пальцы разжались. Не сразу, как будто он заставил их. И в этот миг цепочка на моей шее, тонкая, серебряная, выскользнула из-под воротника и качнулась в воздухе между нами.

На цепочке висела половинка колечка.

Я никогда не думала о нём. Оно просто всегда было. Фенн сказал: мамино. Узкое, потемневшее, неровно расколотое посередине, будто его когда-то разломили пополам руками. Я носила его столько лет, что перестала замечать, как перестают замечать собственные ресницы.

Он замер.

Я видела, как его взгляд упал на кольцо. Не на меня. На кольцо. Серые глаза расширились, зрачки сузились, и впервые за всё время на его лице проступило что-то живое. Страшное.

Он медленно, очень медленно поднял правую руку, ту самую, с белым шрамом, и разжал пальцы.

На его ладони лежала вторая половинка.

Одно и то же серебро. Один и тот же рисунок на ободке: две тонкие линии, будто тянутся друг к другу. Одно и то же рваное место излома.

Два куска, которые когда-то были одним целым.

Мы оба смотрели на них. И ветер шумел над каналом, и в воде отражалось небо цвета старого чая, и позади, на крыше, вдруг стихли шаги Сорена.

— Откуда это у вас? — спросил он.

Голос стал другим. Тише. Опасней. В нём не было приказа, и от этого он был хуже приказа.

— Мамино, — сказала я. — Фенн сказал, мамино.

— Вы лжёте.

— Я никогда не лгу тем, кто держит мою перчатку.

— Это не ответ.

— Другого нет.

И это была правда. Единственная правда за весь день.

Он смотрел на меня так, будто пытался прочесть что-то, написанное на мне мелким шрифтом. И я вдруг поняла, что он очень, очень устал. Что под этим ровным голосом и се-

рым плащом лежит человек, который давно не спит. И что он только что услышал то, чего не слышал никогда: что у него в голове есть дыра, и что чужая женщина, пахнущая лавандой, нашла её пальцами за секунду.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Вы знаете. Вы пришли за мной.

— Я пришёл в лавку. За вами не приходил.

— Тогда зачем стоите тут?

— Не знаю.

Это прозвучало так честно, что я чуть не рассмеялась. Чуть. Потому что в тот же миг над нашими головами скрипнула доска, и на мост ступил Сорен Вэйр: лёгкий, весёлый, в чистых сапогах.

— Дариан, — сказал он ласково. — Ты поймал её. Какая прелесть. Давай заберём девицу, и я угощу тебя вином. Ты бледный.

Дариан. Значит, так его зовут. Я повторила про себя это имя, и на языке что-то качнулось: ничего, ни вкуса, но качнулось, как иногда качается в темноте ступенька, которой нет.

— Нет, — сказал он.

— Нет?

— Я сам.

Сорен моргнул. Улыбка не слетела с его лица, но стала чуть натянутой, как кожа на барабане.

— Конечно, — мягко сказал он. — Как скажешь, Верховный.

Верховный. Верховный Взыскатель. Ох, да я же побежала прямо в лапы самому страшному человеку в Таррене. В человека, которого в Подкладке зовут Кредитором, потому что он не берёт ничего и поэтому берёт всё. В того, кто запечатал мою мать.

Нет. Не он. Мать запечатали, когда мне было двенадцать, а он тогда, наверное, ещё ходил в учениках. Но разница невелика: тот же плащ, та же серебряная пряжка, те же серые люди, которые приходят, когда всё кончено.

— Лиара Кейн, — произнёс он ровным голосом. — Вы арестованы по обвинению в незаконной торговле памятью.

Он знал моё имя. Пока я думала, он, видимо, прочёл его у кого-то в списке, или его назвал Сорен, или Фенн. Я не стала спрашивать.

— Вы позволите мне надеть перчатку? — спросила я.

Он посмотрел на перчатку в своей руке. Потом на мою голую ладонь. Потом снова на перчатку.

— Нет, — сказал он. — Пока нет.

— Почему?

— Не знаю, — повторил он в третий раз, и этот ответ почему-то пугал меня сильнее приказов. — Но я хочу, чтобы вы были без неё.

Позади меня Сорен что-то негромко сказал серым солдатам. По мосту застучали сапоги. Меня взяли с двух сторон, не грубо, но так, что вывернуться уже не получилось бы. Дариан стоял и смотрел, как меня уводят, с моей перчаткой в

кулаке, и на лице у него было такое выражение, как у человека, который проснулся посреди ночи от чужого голоса и не может вспомнить, что ему сказали.

А я шла по мосту над каналом цвета старого чая и думала только об одном.

Эта дыра у него внутри не была пустотой от забытья. Пустые тянут к себе, жадно, голодно, как мокрая вата. Здесь было иначе. Здесь было так, как бывает, когда кто-то аккуратно вырезал кусок, зашил края и спрятал нитку. Это сделали умело. Не Бездна. Человек.

Человек с очень знакомыми руками.

Я думала об этом всю дорогу до Цитадели, пока на языке у меня стоял вкус, которого не было, и на груди, под курткой, горела половинка кольца.

Глава 3. ДАРИАН

Я не сплю с тех пор, как начал считать.

Сначала думал, что это бессонница. Потом понял: не бессонница, а привычка. Человек, у которого вырезали кусок жизни, учится проверять остальное. Каждое утро я лежу и перечисляю то, что знаю. Меня зовут Дариан Ашвер. Мне тридцать один. Я Верховный Взыскатель, Чистый, Носитель Печати. Моя мать умерла, когда мне было девять. Отец жив и не пишет. Три года назад я очнулся у Врат Закладной в чужой крови, и в кулаке у меня была половина серебряного кольца.

Потом пауза. Здесь я обычно перестаю считать.

Это не потеря памяти. Я помню детство, учёбу в Цитадели, первую клятву, первого запечатанного Пустого. Я помню вкус хлеба и запах пороха. Я помню всё, кроме шести недель.

Шесть недель. Сорок два дня. Если выложить их в ряд на столе, получится полоска длиной с мой локоть, и я вижу эту полоску так ясно, как не видел ничего. Она белая. Она пахнет ничем.

Я встал в пять, как всегда, и подошёл к окну. Цитадель Весов построена на скале над городом, и отсюда видно всё: Парчу с её золочёными крышами, реку Сирт, похожую на чёрную ленту, и Подкладку, которая днём дымится, как свежая рана. Серые люди шли внизу строем к утренней перекличке.

Я знал по именам каждого. Это тоже способ считать.

Потом я встал на колени у кровати и поднял третью половицу.

Под ней лежал лист бумаги, сложенный вчетверо. Я не открывал его уже месяц, потому что знал наизусть. Всё равно развернул.

Мой почерк. Торопливый, наклонный, какой у меня выходит, когда я пишу поздно ночью и руки дрожат. Бумага дешёвая, из тех, на которых в Подкладке пишут закладные для ломбардов.

«Не верь Сорену. Яблоня. Она.»

Три фразы. Я нашёл их через четыре месяца после того, как очнулся у Врат: искал, куда делся мой старый нож, и половица под кроватью скрипнула иначе, чем должна была. Я не помню, чтобы писал это. Я не помню этого листа, этой половицы, этой ночи. Но почерк мой, и бумагу не подделаешь так, чтобы рука дрогнула в тех же местах.

Сорена Вэйра я знаю четырнадцать лет. Он вытаскивал меня из реки, когда мне было семнадцать. Он стоял со мной в ночь первой клятвы. Он сегодня утром, пока я не успел проснуться, прислал мне на подносе хлеб с мёдом, потому что знает, что по утрам я ничего не ем и что нужно подталкивать.

«Не верь Сорену.»

Я не верил. И верил. И это были две половины одного человека, который не понимал, на какую ему лечь.

«Яблоня» ничего не значило. В Цитадели нет яблонь. В Вельморе их три, все во дворах у богатых. Я обошёл их все в первый год и ничего не почувствовал, кроме запаха гнилых яблок.

«Она.»

Вот это слово я перечитывал чаще всего. Не имя. Не титул. Даже не описание. Просто «она», как будто я знал, что когда-нибудь вернусь и пойму, о ком речь.

Я сложил листок и положил на место.

Серебряная половинка кольца лежала у меня в кармане. Я не носил её на пальце, потому что она не налезала ни на один: слишком мала для мужской руки. Я просто таскал её с собой, как таскают камень, которым однажды ударят.

Ирэн Кастор вошла в кабинет без стука, как всегда, и положила на стол отчёт, как кладёт кость собаке, которую давно не кормили.

— Двести тринадцать зёрен, — сказала она. — Из лавки на Медников. Вы довольны?

Рыжая, жёсткая, шрам через левую бровь, который она получила в двадцать два, когда пыталась вытащить из горящего дома ребёнка Пустой женщины. Ребёнка вытащила, шрам остался. Ирэн тридцать пять, и она единственный человек в Ордене, который говорит мне правду без вежливости.

— Довольны, — повторила она. — Двести тринадцать чужих жизней в мешке. Часовщик молчит. Говорит, что это его

коллекция бусин. Он их собирает. Для кукольного театра.

— Он врёт.

— Конечно. Он старый, хромой, лицо как у дедушки. Врёт гладко. Но я не поэтому пришла. — Она помолчала. — Верховный. Вы сегодня лично поймали скупщицу.

— Да.

— Лично. На крыше. Вы, который не выходит из Цитадели без пяти докладных. Вы, которому девять человек из десяти в Ордене приносят преступников на подносе.

— Я хотел посмотреть.

— На что?

Я не ответил. Она подождала, потом хмыкнула и села на край стола. Ирэн единственная, кто сидит на моём столе. Я это терплю, потому что она ни разу не ошиблась в людях.

— Девчонка красивая? — спросила она.

— Не знаю.

— Как это не знаете?

— Я не смотрел.

Это была ложь, и Ирэн это почуяла, но не стала давить. Я смотрел. Не на лицо: на руки. Нервные, быстрые, в тонкой перчатке, и под перчаткой та самая жилка на запястье, которая бьётся слишком часто. На то, как она остановилась на доске над каналом и вдруг, глядя мне в лицо, поняла что-то, чего не должна была понять.

«У вас там дыра».

Я никому не говорил про шесть недель. Только Ирэн, и то

не всё: она знает, что я был в «командировке на север», что вернулся с шрамом и без отчёта, что с тех пор ночами хожу по Хранилищу. Остальные думают, что я проводил операцию. Канцлер Мерек так и сказал на приёме: «Прекрасная работа на севере, молодой человек».

А эта женщина прикоснулась к моему запястью и за секунду назвала то, чего не знал никто.

— Опишите её, — сказал я.

— Кого?

— Допрос. Что она делает?

Ирэн посмотрела на меня странно, но кивнула.

— Идите смотреть сами.

Допросная в Цитадели устроена просто: комната без окон, стол, два стула и стена из толстого мутного стекла, за которой стоит тот, кто слушает. Стекло односторонне. Скупщики его ненавидят. Они знают, что оттуда на них смотрят, и не знают кто.

Я встал у стекла и увидел её.

Она сидела на стуле, подвернув ногу, как на кухонной лавке. Тёмно-каштановая коса растрепалась, и несколько прядей лезли в лицо. Правая рука без перчатки лежала на столе, как будто она не знала, что с ней делать. Левая в перчатке.

Передо мной стоял солдат с протоколом. Он что-то спрашивал. Она отвечала.

Я включил слуховую трубку в стене.

— …и как вы считаете, сколько стоит человеческая

жизнь? — спросил солдат.

— В зависимости от того, чья, — ответила она. — Вашу я бы оценила в сорок серебра. Хорошую, но с дефектом.

— Отвечайте по существу.

— Это по существу. У вас, например, правая бровь выше левой. Люди с такой бровью обычно врут жене. Я бы взяла за вас сорок пять.

Солдат покраснел. Она улыбнулась ему, невинно, как ребёнок, поймавший взрослого на глупости. Я никогда не видел, чтобы так улыбались в допросной. Взрослые люди в этой комнате плачут, или молчат, или бросаются на стекло. Она играла. Спокойно, внимательно, не отводя глаз.

Потом она сунула руку в карман и достала что-то маленькое, завёрнутое в бумажку. Развернула. Положила в рот.

— Что это? — спросил солдат.

— Карамель.

— Вам нельзя.

— Это не оружие. Это конфета. Если хотите, я вас угощу, но тогда придётся записать в протокол взятку.

Он смотрел на неё, как на говорящего пса. Я тоже. Сквозь стекло я видел, как она вздохнула, закрыла глаза и сунула карамель за щёку, и на лице у неё появилось такое выражение, будто весь этот день прошёл мимо неё и остался только вкус.

И вдруг она повернула голову.

Не к двери. К стеклу. Прямо в то место, где стоял я. Она не могла видеть меня: стекло глухое, с моей стороны темно.

Но глаза у неё были серо-зелёные, цвета мокрой травы, и они остановились ровно на мне. Как будто знали, где искать.

Она не сказала ни слова. Просто смотрела. Секунду, две. А потом отвела взгляд и спросила у солдата:

— Вы не передадите ему, что мне нужна моя перчатка?

— Кому?

— Тому, кто смотрит.

Я не вздрогнул. Я научился не вздрагивать лет в двадцать. Но рука моя, правая, с белым шрамом, в кармане сжалась на половинке кольца так, что серебро врезалось в ладонь.

Перчатка лежала у меня в другом кармане. Я забыл положить её в протокол.

Секретарь Канцлера пришёл в десять. Худой, прилизанный, в камзоле цвета слоновой кости, со свитком, перевязанным золотой лентой. Он нёс себя так, будто его надушили поверх кожи.

— Верховный Взыскатель, — сказал он с лёгким поклоном. — Его Высокопревосходительство Канцлер Империи шлёт вам свои приветствия и просит о маленьком одолжении.

— Слушаю.

— Скупщица, задержанная сегодня на улице Медников. Дело о незаконной торговле памятью касается гражданских лиц, и, согласно уложению о ломбардах, подлежит ведению Канцелярии. Его Высокопревосходительство будет признателен, если вы передадите задержанную в его юрисдикцию.

Для удобства она может быть отправлена сегодня же, в закрытой карете.

Сорен стоял у стены, скрестив руки. Он пришёл вместе с секретарём, я это заметил. Улыбался, как всегда, но смотрел в окно, а не на меня. Он всегда так делает, когда не хочет, чтобы я что-нибудь прочёл.

«Не верь Сорену.»

— Нет, — сказал я.

Секретарь моргнул.

— Простите?

— Нет. — Я взял свиток из его рук, не разворачивая, и положил на стол. — Ёмкость. Скупщица с даром Ёмкости. В уложении Ордена от семьсот двенадцатого года сказано, что любое дело, связанное с носителем дара, угрожающего целостности печати, подлежит исключительно ведению Взыскателей. Прочтите статью девять. Я подожду.

— Её дар никому не угрожает печати.

— Ёмкость может прочесть Слово Печати из любой головы, если дотронется до Носителя. Это записано в первой хартии. Вы считаете, что я ошибаюсь в хартии?

Он молчал. Секретари Канцлера умеют многое, но не умеют спорить с цитатами. Они для этого слишком хорошо воспитаны.

— Я передам Его Высокопревосходительству, — сказал он наконец, — что вы... что вы отказались.

— Передайте, что я проверю статью ещё раз. И что благо-

дарен за приветствия.

Секретарь поклонился, развернулся на каблуке и вышел. Дверь закрылась. Я не шевелился.

— Интересно, — сказал Сорен.

— Что?

— Ты никогда не цитируешь хартию. Ты её ненавидишь. Ты говорил, что это бумага для тех, у кого нет совести.

— Это было давно.

— Это было на прошлой неделе.

Он улыбнулся. Я посмотрел на него. Четырнадцать лет. Он вытаскивал меня из реки. Он принёс хлеб с мёдом. У него светлые волосы, добрые глаза и лицо, которому хочется доверять. Он не сделал мне ничего плохого ни разу.

— Сорен, — сказал я. — Ты когда-нибудь слышал имя «Яблоня»?

Что-то сдвинулось. Не в лице. В воздухе. Вся лёгкость, которая окружала его как запах, на мгновение исчезла.

— Яблоня? — переспросил он. — Конечно. Это дерево. А что?

— Ничего.

— Ты бледный, Дариан. Ты спал?

— Нет.

— Ты не спишь уже три года.

— Да.

— Это не лечится. Но я бы с радостью помог.

— Я знаю.

Он ушёл. Дверь за ним закрылась мягко, без стука, как закрывается всё, что он трогает.

Я остался один в кабинете. Над городом висел короткий серый день, и по стеклу ползла капля, как слеза по лицу, которого не видно.

Я достал из кармана её перчатку.

Тонкая коричневая кожа, потёртая на пальцах, с аккуратным швом на ладони, заштопанным чёрной ниткой. Заштопанным умело. Так шьют те, у кого нет денег на новую.

Я поднёс её к лицу. Хотел только понять, чем пахнет.

Лаванда. Горький, терпкий запах мыла и сухой травы. И под ним что-то ещё, тонкое, почти неуловимое, как память о запахе.

Яблоко.

Не свежее. Тёплое, печёное, с корицей, как в тот день, когда...

Какой день?

Я замер. Что-то вспыхнуло у меня за глазами, коротко, как спичка в темноте. Звонкий детский смех. Чьи-то холодные пальцы на моём запястье. И колокольчик, тонкий, серебряный, который звякнул где-то совсем близко, в двух шагах, и умолк.

Всё.

Я стоял посреди кабинета с чужой перчаткой у лица и слышал, как бьётся кровь в висках. Через секунду всё погасло. Шесть недель вернулись на своё место, белые, гладкие, пах-

нущие ничем.

Но колокольчик я слышал. Я слышал его. Впервые за три года что-то пробилось сквозь стену.

Я спрятал перчатку в карман. Потом вышел в коридор и сказал дежурному, чтобы Лиару Кейн перевели из допросной в другую комнату. С окном. С кроватью. И с запасом карамели.

Когда дежурный ушёл, я вдруг понял, что стою с поднятой рукой и улыбаюсь, и тут же убрал улыбку. Она мне не принадлежала.

Или принадлежала.

Или это одно и то же.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.